

НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

THE LEGACY OF RUSSIAN EMIGRATION

УДК 82.0

НИКОЛАЙ БАХТИН КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ: НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ

© **Марков Александр Викторович** (2021), ORCID: 0000-0001-6874-1073, SPIN-код: 2436-2520, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (Россия, 125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д. 6), markovius@gmail.com

Николай Бахтин, русский и британский (Кембридж и Бирмингем) филолог и теоретик культуры, был экспериментатором в области филологических методов, создавшим на основе частных наблюдений над историей греческого языка и переводов с греческого языка оригинальную теорию культурных трансферов. Эта теория теснее всего связана с дискуссиями о статусе субъекта в феноменологии, от Эдмунда Гуссерля до Макса Шелера, соотнося статус субъекта с возможностями языкового выражения подлежащего и построения длинных непротиворечивых высказываний. Хотя академическое изучение диалога Платона «Кратил» относится к последним годам жизни Николая Бахтина, уже в его статьях 1920-х годов проступают главные темы, связанные с конфликтом между этимологическим и ситуативным обоснованиями семантики. Николай Бахтин, как и его брат Михаил Бахтин, обосновывал динамическую модель культуры, в которой позиция субъекта не является заранее данной, и хотя в работах Николая Бахтина понятия полифонии и диалога не выражены, в них зато есть понятия о тоне и опредмечивании, связывающие его с русской религиозной философией. Отвергая некоторые из амбиций русских религиозных мыслителей, он, так же как они, настаивал на тотальности мира убеждений, в противоположность миру психологических реакций и миру речевых полаганий. При этом критика идеологий, основанная на признании неизменным уже существующего мира убеждений как горизонта культурного опыта, сближает Николая Бахтина с левой мыслью, которая и получила наибольшее развитие в Бирмингемской школе (Центре исследований современной культуры). Николай Бахтин, как и Михаил Бахтин, исходил из уже в целом завершенной семиотизации культурных решений, но видел в этом не факт адаптивных механизмов культуры, а факт автономии суждения, никогда не поддающегося до конца инструментализации, – этому, по его мнению, и посвящен диалог Платона «Кратил». Такая автономия суждения предопределила и принятие Николаем Бахтиным левой повестки как сопротивляющейся любой частной инструментализации культуры, и истолкование пат-

тернов культуры, очень близкое Бирмингемской школе и современным исследованиям культуры.

Ключевые слова: Николай Бахтин, Михаил Бахтин, Платон, исследования культуры, Бирмингемский университет, теория литературы, диалог, религиозная философия, неомарксизм.

Вводные замечания.

Николай Михайлович Бахтин (1894–1950), старший брат Михаила Бахтина, филолог-эллинист и философ языка, хотя преподавал в Бирмингеме с 1938 года, а с 1946 года заведовал лингвистическим отделением, до конца не отождествлял себя со средой Бирмингема. Свою единственную прижизненную монографию, посвящённую строю новогреческого языка, хотя и выпустил в Бирмингеме на собственные средства, он считал продуктом кембриджской филологии, имея в виду получение в Кембридже докторской степени и планы добиться там преподавательского места. Архив Н.М. Бахтина пока не только не опубликован, но и до конца не разобран. С идейной точки зрения никакого противоречия между Николаем Бахтиным, в 1940-е годы левым мыслителем, интерпретатором массовой культуры и критиком индивидуализма с марксистских позиций, и британскими левыми, в том числе создателями Бирмингемского Центра современных культурных исследований (CCCS), не было, и дальнейшее наше изучение данной темы только это подтверждает, но реальные параллели и влияния – тема для монографического разбора с привлечением всех документов хранящегося в Бирмингеме архива. В настоящей статье ставится вопрос о том, как противоречия в том методе, который развивал Н.М. Бахтин на протяжении всей своей деятельности, будучи приняты всерьёз, предопределяют ту проблематизацию культуры, которая была осуществлена бирмингемцами. Или, говоря другими словами, как невозможность сказать о культуре всё и до конца, с которой столкнулся Н.М. Бахтин, определила ту область эксперимента и критики, в которой и действовала левая британская мысль о культуре? Поэтому цель данной статьи, скорее, не историческая, а теоретическая – понять, как именно специфические филологические интересы Н.М. Бахтина определили то отношение к культуре, которое выходит за рамки решения филологических задач, но прямо относится к способности культуры учреждать субъекта, поддерживать свою автономию и становиться объектом критики?

Какие незаметные, но важные рефлексивные скачки мысли для этого нужно проделать?

Чтобы ответить на эти вопросы убедительно, несмотря на недостаточную, до публикации архива, источниковую базу, способствуя дальнейшим исследованиям школы британского марксизма в контексте русско-английских культурных связей, необходимо осветить три этапа проблематизации культуры, причем не в хронологическом смысле, а структурном, – Н.М. Бахтин часто возвращался к ранним темам, и в поздний период мог разрабатывать как научно значимые (претендующие на общезначимость) более ранние интуиции. Первый этап: как интерпретация отношений между речью-инструментом и речью-суждением в переводоведении Бахтина и исследовании диалога Платона «Кратил» определила понимание субъекта культуры. Второй этап: как понимание культуры и формы как уже имеющейся, предшествующей актам суждения или оценки, связанное с феноменологической философией и отработанное на множестве примеров, от кинематографа до пластических искусств, определило взгляд на нее как на систему не только изобретаемых кодов, но и предзаданных, внедренных и обслуживающих различные политики, которое существенно для исследований культуры. Третий этап: как понимание кода как состоящего из готовых суждений, например, при сравнении Шекспира и Пушкина, приводит уже к разделению тела-инструмента и тела-суждения, и как это предвосхищает проблематику телесности в исследованиях культуры.

Русские работы Н.М. Бахтина, преимущественно из журнала «Звено» 1924–1928 гг., объединены в представительном собрании с минимальными комментариями [Бахтин 2008]. Англоязычные его работы, знакомившие непривычного читателя с достижениями русской культуры, были изданы в Бирмингеме посмертно, в 1963 году [Bachtin 1963]. При этом как «предмет» исследования Н.М. Бахтин остается до сих пор в тени великого брата: немногие статьи, в которых он рассматривается как мыслитель, прежде всего сопоставляют его творчество с духом эпохи, представленным братом. В результате проект М.М. Бахтина становится как бы тотальным, тогда как проект Н.М. Бахтина – частным случаем, который может быть демаргинализован только благодаря особым усилиям, и эти усилия предпринимаются в виде биографического нюансирования [Tihanov 1999] или русской культурологической тематизации [Шестаков 2010], где «русское» всякий раз оказывается переменной для открытия неких

постоянных метода Н.М. Бахтина. Но даже предварительное вписывание Н.М. Бахтина в историю русской эмигрантской религиозной философии и в историю британского марксизма, с учетом тех операций, которые он проделывал над филологическим материалом с помощью филологического инструмента, показывает, что, несмотря на отсутствие у старшего брата своих ярких терминов и понятий, сами его процедуры движения к философии культуры могут быть тоже невероятно впечатляющими.

1. Чужое-свое слово: обивая пороги перевода

Последние годы жизни Николай Бахтин занимался диалогом Платона «Кратил», готовя новое научное издание диалога, со словарем, подробным комментарием и пояснениями грамматических нюансов, видя в этом диалоге вдохновение для новой философии языка. Основная коллизия диалога Платона такова: следует ли понимать имена как инструменты (и тогда они должны быть проверены) или как суждения (и тогда они должны быть поддержаны)? На первый взгляд софист Кратил, инструментализующий слово как часть политической манипуляции и потому не нуждающийся в этимологическом исследовании, противостоит Сократу, находящему рациональные основания для надежного знания в том числе в надежной этимологии (надежной не в современном научном смысле, а как часть мира убеждений и достаточных оснований суждения). Но на самом деле, кроме собственно гносеологических задач речи, в диалоге есть более важный план, а именно динамика речи, которую можно увидеть только изнутри. Николай Бахтин настаивал, что не только собственную речь, но и собственное тело мы видим исключительно в динамике: «Только его мы знаем динамически, изнутри, – и лишь в силу этого знания получаем возможность истолковывать как форму пространственные грани вещей» [Бахтин 2008, 58], и тем самым оказывалось, что наша внутренняя речь есть просто соответствие динамике телесных проявлений, что внутренняя речь и телесная несомненность сходятся в мире убеждений, для которого пространственность вещей является горизонтом отношения к ним, а не тотализуемой частной данностью.

Условность имен по Кратилу, которую оспаривает своими этимологиями Сократ, – это не привычная нам после Соссюра семиотическая условность, а инструментальность: для инструментальности достаточно инструкций, тогда как мироздание подчиняется своим предписаниям и знает подлинные имена. Но и Сократ не может про-

сто отстоять в противовес кратиловским инструментам суждения как универсальный рациональный принцип, к которому мы тоже привыкли и воспринимаем как само собой разумеющееся, он должен действовать убедительно и для Кратила. Обе концепции, инструмента и суждения, по-разному допускают этимологизирование; но Сократ, по ходу диалога всё более рационализуя ситуацию, не отходит от своих истинных и ложных этимологий, а скорее подменяет субъекта, совершает именно здесь скачок, чтобы проверка суждения могла состояться не с помощью этимологии, а изнутри нее. Николай Бахтин постоянно говорил, что именно возвращение к субъектности как внутренней данности, а не как к функции методического познания делает прозрачными этимологии. Это стало одним из сюжетов его «Введения в изучение новогреческого языка», где он приводит пример, согласно которому эпитет Геры Βουναία (*Горная*), совершенно прозрачный для любого современного греческого крестьянина, не был понятен ученым Плутарху и Павсанию, с их книжным аттическим диалектом [Бахтин 1935, 79].

Таким образом, проблема языка заключается в том, что субъект речи *уже есть* и субъективный оттенок высказывания несомненен, даже когда высказывание только началось, иначе говоря, такое возвращение к субъектности всегда проблематизировано и требует языковых смещений, переводов и семантических зияний, чтобы состояться. Конечно, это проще всего сопоставить с концепцией «чужого слова» М.М. Бахтина, но на самом деле Н.М. Бахтин имеет в виду не антропологическую ситуацию представленности человека всем возможным убедительным/убеждающим высказываниям, а наличие уже запущенного процесса репрезентации. Если М.М. Бахтина, как Кратила, интересует сама возможность отношения к языку как к репрезентации, так что всегда можно найти область не-репрезентируемого, чистой изменчивости или чистой вненаходимой динамики, то Н.М. Бахтин, как Сократ, говорит о том, что мы *уже* попали в ситуацию познания, что, даже если наши суждения об этимологии будут поверхностны, они уже делаются изнутри сферы неотчуждаемых убеждений. В ранних работах Н.М. Бахтин называет эту область неотчуждаемых убеждений художественностью. Слово для него изначально художественное слово: «Указать предел, за которым слово перестает быть художественным словом, теоретически затруднительно» [Бахтин 2008, 20]. Доказательство этого смелого тезиса для него состояло в следующем: что угодно может быть представлено

художественно, а многое уже представлено художественно, процесс такого представления уже запущен. Иначе говоря, культура для него является областью продолжающегося запуска процессов семиотизации как универсального перевода, а критика культуры тогда возможна только как указание на прямо сейчас происходящие процессы семиотизации, а не как критика вообще семиотицирующих возможностей культуры – здесь Н.М. Бахтин стоит ближе не к классическому марксизму, с его исследованием культуры как надстройки, а к неомарксизму, с критикой различных текущих эффектов культуры, принуждающих к тем или иным практикам угнетения и зависимости, благодаря чему и стала возможна бирмингемская программа как рефлексия над уже обнаруженными и неотменимыми фактами влияния культуры на политику.

Конечно, во многих работах такое открытие текущей динамики культуры полностью принадлежит переводоведению. Г. Тиханов [Тиханов 2002, 64] отметил англоязычное переводоведение Николая Бахтина как исследование полифонии в поэзии Элиота, которая утрачивается в новогреческом переводе Сефериса не то из-за вмешивающейся невольной позиции переводчика, требующей поддерживать общий тон, не то из-за свойств поэтической риторики в греческой традиции, достаточно монологичной (здесь можно вспомнить многочисленные рассуждения о греко-православной традиции богословия, от А.С. Хомякова до С.С. Аверинцева, как традиции, не допускающей различия богословских систем внутри легального поля церковности, что связывается с «соборной» рецепцией богословия как разделяемого всеми членами церкви). Таким образом, оказывается, что перевод запускает непрерывную семиотизацию тона, противоречащую тем разрывам оригинала, в которых и возникает субъективность в культуре: при этом перевод исходит из уже неотменимости того режима монолога или диалога, который и может запустить новые процессы в культуре. Но пока Н.М. Бахтин писал и по-русски, и по-английски, он мог говорить об этом тоне как о стилистическом факте или как о горизонте художественности. С полным переходом на английский язык ему осталась только ситуация «Кратила», где важна не стилистика, а только сами условия мышления.

2. Моментальный сговор с культурой в кинотеатре

Н.М. Бахтин в годы работы в «Звене» успел поспорить с З.Н. Гиппиус о природе кинематографа [Янгиров 1992]. Гиппиус, как и многие критики эмиграции, например, П.П. Муратов и

В.Ф. Ходасевич, не усматривала в кинематографе никаких творческих возможностей, способных сделать его искусством, а не развлечением, паразитирующим на впечатлениях жизни. При этом Гиппиус, кроме обычных аргументов против кинематографа, приводит и свой: в самом мелькании света на экране, превращающем в условность любую выразительность, она видела разрушение искусства как практики выразительности. С этим Бахтин не согласен: как раз это превращение в условность для него запущено в самый момент создания любого искусства, искусство (например, скульптура, не полностью копирующая живое существо) стало условным еще прежде того, как в нем возникли первые отсылки к вещам окружающего мира или амбиции совладать с этими вещами. Поэтому, утверждает Н.М. Бахтин, если его что и раздражает в кинематографе, то условность в ее данности, ему не нравится данная кинематографическая условность, данное явление как схематизация феноменов, но не функциональность этой условности для понимания вещей и выстраивания искусства. Такое понимание предметности вполне вписывалось и в его восприятие феноменологии как науки, направленной не на ограничение полномочий психологии (Гуссерль для Н.М. Бахтина борется только со схематическим психологизмом [Бахтин 2008, 171–172]), а на эмансипацию психологии, то есть на разведение (1) нашей заинтересованности в предметности и (2) собственных законов предметности как моментов познания. Поэтому, отвергая схематический психологизм кинематографа, он принимал заинтересованность в предметных схемах и паттернах предметности как условий познания, паттернов культуры как строящих в том числе нашу субъективность, так что критика культуры может быть только критикой ее предметных схем, влияющих на социальные практики, но не собственно паттернов. Поэтому Н.М. Бахтин меньше всего интересовался светом как средством, изучая впечатление зрителей как опыт предметности, что отвечает общей тенденции как кембриджских, так и бирмингемских левых – критиковать условности культуры только там, где они не ресемантизированы участниками исторического процесса, иначе говоря, предметными практиками, а выяснять, где схемы влияют на сами порядки практик.

Таким образом, Н.М. Бахтин вместе со своеобразно истолкованным им Гуссерлем критикует идеологические схемы в культуре, видя в них что-то враждебное развернутым суждениям, которые и создают возможность непротиворечивых высказываний от первого

лица, например, суждений об уже состоявшихся правилах или кано-нах выразительности, нашедших себя, скажем, в кинематографе или скульптуре. При этом Н.М. Бахтин, пока писал по-русски и тем самым мыслил критику как некоторый перевод, как некоторое объяснение, почему такие схемы недопустимы и не могут стать основой завершенных развернутых суждений в переводе, заходил в тупик, в который обычно попадали религиозные философы, утверждавшие, что тотальность мира убеждений превращает даже атеизм в момент правильно организованного религиозного познания. Только для Н.М. Бахтина, о чем свидетельствует его лекция, прочитанная в декабре 1927 года, это была тотальность мира культуры, которая имеет в виду убеждения уже не ее создателей, а ее зрителей, то есть этически уместную и этически оправданную тотальность: «Свободное соучастие в культурном строительстве уже невозможно. Все формы и пути заранее предустановлены. Попробуйте восстать против этого – и ваше восстание тоже преуказано и учтено. Всякий мятежник против культуры <...> пользуется ее же средствами» [Бахтин 2008, 67]. Хотя Н.М. Бахтин был противником книги Льва Карсавина «О началах» (1925), которую, как он говорил в январе 1926 года, нельзя читать «без чувства какого-то почти физического недомогания» [Бахтин 2008, 175] из-за признаков «какой-то глубинной, душевной нечистоты» [Бахтин 2008, 176], он меньше чем через два года воспроизвел сходное рассуждение: «Каким образом “только ограниченное существо” может нечто о Боге высказывать, утверждать хотя бы Его непостижимость? Ведь говорить, что Бог непознаваем, значит нечто о Нем все-таки говорить и, во всяком случае, выходить за пределы своей ограниченности». И далее: «Пытаясь приблизиться к Истине, мы отвергаем всякие предвзятые гипотезы и, в частности, отрицаем, что мы только ограниченные существа» [Карсавин 2017, 5].

Но «негативное» пользование данными культуры, богословия и т.д. из того, что оно уже происходит как факт, вовсе не становится положительным фактом – происходит как факт и быть фактом суть разные вещи, и после опыта психоанализа это должно быть в целом понятно. Поэтому нигилист, отрицающий возможность сказать и что-то хорошее, и что-либо положительное о Боге, или хулиган, который отрицает культуру с определенным азартом и некоторыми вполне поддающимися культурной интерпретации жестами, оказываются не столько плохими пользователями ценностей богословия или культуры, сколько просто примерами того, что может происхо-

дить помимо этих ценностей. Но тем не менее, как мы сказали, Н.М. Бахтин, в отличие от Л. Карсавина, требующего постоянно справляться с собой, отвергать предвзятость, вести себя героически, как в высокой культуре, настаивает на позиции зрителя, тем самым признавая предзаданность в том числе и кодов протеста в культуре, чем и предвосхищает и изучение, и критику массовой культуры.

3. Зависть богов к профессиональному жаргону

Но, кроме признания некоторой предзаданности, предшествующей не только структуре действительных суждений, но и схемам возможных суждений, Н.М. Бахтина делает предшественником исследований культуры особое понимание культурной интуиции, для которой мир весь как чужой [Бахтин 2008, 67], в чём можно увидеть продолжение культурной герменевтики, в том числе и в русском изводе: дионисийская трансгрессия, по Вяч. Ив. Иванову, вдруг делает всю культуру внеположной личным полагающим высказываниям о ней. Такой радикализм и позволяет сделать ряд продуктивных предположений о русской культуре для англоязычного читателя. Русская культура как способная показать трансгрессию, оказывается нетривиальной именно потому, что исследует схемы возможностей, а не структуры действительности. Н.М. Бахтин говорит о культурном коде (code) Шекспира, который стандартен, состоя из афоризмов и поговорок, различных изоощренных совмещений культурно-эмоциональных клише [Bachtin 1963, 129], в отличие от Пушкина, который не производит сложных совмещений смыслов (ambiguities and superimposed meanings) [Bachtin 1963, 18], а именно показывает просто, как культура возможна. Влияние Пушкина на русскую культуру, по Н.М. Бахтину, – это не влияние личности, оно не может быть описано как литературное влияние в стиле или материале [Bachtin 1963, 22]. Это само присутствие возможностей дышать, возможностей творить, возможностей действовать, то есть олицетворенное производство автономного суждения, которое можно увидеть и в деле Сократа в диалоге «Кратил».

При этом идеология для Н.М. Бахтина – это то, что Макс Шелер назвал «постулятивным атеизмом» [Бахтин 2008, 200], иначе говоря, постулирование исходя из убежденного тела и тех способов высказывания о мире, в которых только и будет сказываться это тело как инструмент угнетения, как бы запускаемый сам собой. Против такого постулятивного атеизма была направлена метакритика спорта, которую мы находим в статье Н.М. Бахтина, опубликованной в ап-
106

реле 1926 года и представляющей собой попытку сказать то, что, по его мнению, не договорил Макс Шелер, чей классификаторский ум не позволил ему объяснить до конца выпадающий из классификаций статус тела в культуре.

Эта статья – панегирик хрестоматии античных текстов о спорте Берже и Мусса, которые «отнюдь не филологи, но люди спорта» [Бахтин 2008, 204]: практиков Н.М. Бахтин противопоставил филологам. В этом, конечно, достаточно увидеть отзвук позиции Ницше, который порицал филологов-античников за то, что их кабинетный образ жизни меньше всего отвечает агонально-спортивному поведению изучаемых ими людей [Ницше 1994]. После Ницше этот упрек филологам в неспособности понять телесные и эмоциональные установки античности, требующие особого вживания и трансгрессивных практик, вроде такой же безумной влюбленности, как у Катутлла, стал общим местом, например, у У.Б. Йейтса и О.Э. Мандельштама. Но интересно, что Н.М. Бахтин увидел в методе Берже и Мусса не простое вчувствование, но создание особой, спортивной точки зрения на спорт в его истории [Бахтин 2008, 203], иначе говоря, исключение филологической точки зрения в пользу постоянно догоняющей предмет практики интерпретации и подбора слов. Эта практика описывается почти в духе сошествия в подземное царство нового Орфея или Энея: только при спортивном взгляде на спорт открывается «узкая, но верная лазейка в эллинский мир», иначе говоря, столкновение с его вне-атеистической реальностью, которая и есть единственная возможность критически локализовать начало разговора, независимо от идеологических схем, всякий раз исключаяющих такую локализацию, потому что они исключают различие постулируемого автономным телом и телом как инструментом высказывания. Этот пафос различения, ведущего к открытию внеположной религиозной и одновременно разговорной реальности, есть и во «Введении в изучение новогреческого языка», где говорится, что, скажем, религиоведу полезно знать новогреческий [Bachtin 1935, 6], равно как и интерпретатору сложных поэтических произведений на любом древнем языке полезно знать современный вариант этого языка, чтобы понять, в какой момент какая-то идиома становится разговорной, и тем самым выяснить, когда именно там начинается разговор [Bachtin 1935, 13].

И в посмертно изданной книге Н.М. Бахтин в полном соответствии с этой программой различения двух статусов тела также ис-

следовал, как эротическое понимание сельского хозяйства у древних греков проявлялось в языке. Следует только отказаться от спиритуализации ключевых терминов, например, эпитетов богов, поняв их действительную энергетику [Bachtin 1963, 86], полагаящую тело как внеположное нашему знанию, но при этом делающую наше тело инструментом понимания не только древних семантик, но и древних интуиций. Тогда становится понятно, что земля не предмет филологического кабинетного рассмотрения, а начальное звено в последовательности символов или прототипов [Bachtin 1963, 92], за которыми и появляются настоящие образы искусства. И следующий шаг: постулируя вечность земли как вечного образа и вечного предмета религиозного созерцания, мы признаем тем самым оправданность этих цепочек, понимаем, что они суть не случайные ассоциации, и благодаря этому чувствуем подлинность эллинизма [Bachtin 1963, 94]. То есть из постулирования чего-то как необходимого следует необходимость всех тех языковых ассоциаций, которые только и возможно нам как зрителям-исследователям извлечь из этого предмета в связи с его неотъемлемыми свойствами – интуиция здесь оказывается основанием признания производства ассоциаций и вдохновенных смыслов как уже состоявшихся, а не как навязанных нашими словарными соображениями знатоков культуры. Это уже ближе всего стоит к британскому левому пониманию культуры как постулируемой необходимости, которая становится продуктивной благодаря постулированию, а не благодаря непознаваемым для нас имманентным свойствам, всегда присвоенным очередными идеологиями тела и телесного угнетения.

Каким образом переводчики восхваляемой Н.М. Бахтиным хрестоматии добились такого движения прямо к тревожному таинственному ядру античной культуры? Очень просто: они отказались переводить «всегда конкретные и однозначные» «технические формулы агонистики» высокими словами антиковедческого переводческого жаргона, но «дерзнули ввести <...> целый ряд терминов и речений современного спортивного арго», слова, «отчеканившиеся в деле и для дела» [Бахтин 2008, 205] (под чеканностью имеется в виду формульность). Само слово «арго» довольно показательно: оно есть в «Парижской поэме» (1943, Кембридж) В.В. Набокова в связи с преступлением Горгулова, в этой поэме явный намек в словах «с кондачка» на статью Вл. Ходасевича «О горгуловщине» [Ходасевич, 1932], где критик увидел истоки этого преступления в желании лег-

108

комысленно судить о самых важных вопросах, что переросло в столь же легкомысленное отношение к поступкам, имеющим мировые политические последствия. Но Н.М. Бахтин как раз показывает, что «арго» – это вовсе не язык, лишенный фундаментальных значений и потому производящий эфемерные и безответственные эмоции, но в случае античной культуры – наоборот, единственный способ для языка совпасть с культурой телесной импровизации и собранности внутри спортивной игры, то есть совпасть с самим моментом различения, в отличие от неразличений в случае преступлений Горгулова. То есть филолог наивно принимает идеологию, в то время как именно тот, кто делает тело рефлексивным, как раз по «Кратилу» нашедшим основание и для совершенно инструментальных на первый взгляд слов, тот и смог осуществить метакритику личного опыта. В посмертной книге Н.М. Бахтина есть слова о том, что парковый спорт – только тень удовольствия при чтении Платона [Bachtin 1963, 129]. Нельзя не увидеть иронический тон такой метакритики: если мы считываем тело, исходя из одного языка, например, языка романов, которые читает эта дама, мы не сможем различить полагание и продуктивность тела, и нам понадобится Платон, различающий полагание и продуктивность этимологии.

Заключение.

Проведенное исследование показало, что, хотя Н.М. Бахтин не создал таких ключевых слов и терминов, как его великий брат, пройденный им путь оказывается тоже вписан в сложнейшие переплетения мысли XX века после создания и кризиса феноменологии. Н.М. Бахтин, будучи философом языка, конечно, больше всего думал об условиях, когда владение языком или создание некоторого числа высказываний может выстроить субъективность. Но от мысли о субъективности, как исследователь перевода, он переходил к мысли о телесных жестах, которые сопровождают перевод и делают возможными ряд различений истинного и неистинного высказывания, истинного и неистинного полагания самих условий высказываний. При этом общий стиль мысли Н. М. Бахтина можно назвать интровертным: он говорит не о том, как перевод, культура или творчество расширяют наши горизонты или создают новые возможности, но, напротив, как они локализуют здесь и сейчас уже данные нам возможности.

Поэтому его путь довольно прям: от признания того, что все слова уже сказаны, что близко идее «чужого слова» М.М. Бахтина, к

критической феноменологии тела, которая вносит разрывы в само становление субъективности. Оказывается, что различие способов полагания или принятия тела должно предшествовать признанию точки субъективности как точки, с которой может быть сказана какая-то истина. Позиция Н.М. Бахтина в широком смысле «зрительская»: для него существует телесный театр, предшествующий тому принятию или непринятию культуры, которое мы проявляем в частностях нашего мышления или поведения. Но при этом, зайдя в тупик с религиозно-философским пониманием тотальности культурной семиотики, он нашел выход из него в принятии схемы «Кратила» Платона как способа объяснить различие между начальными конструктивными схемами культуры и ситуативными решениями. Это различие, будучи спроецировано в собственные языковые ситуации Н.М. Бахтина, позволило ему осуществить критику культуры, близкую британским левым, как кембриджской школе, так и бирмингемской.

Хотя реальные контуры этой близости можно будет установить только после изучения архивов, уже сейчас можно назвать следующие точки соприкосновения. Прежде всего, это критика идеологии как ложной тотализации и понимание любой критики идеологии как трансгрессивной критики, преодолевающей границы идиом, которые оказываются и границами телесных привычек. Далее, это особое изучение паттернов культуры, как выносящих за скобки автономное суждение и создающих массовую культуру как систему автономного самовоспроизводства. Наконец, это признание возможности активной ресемантизации культуры, которая предпринимается сначала благодаря различению полагания тела и функции тела, а потом, как в диалоге «Кратил», благодаря различению производства семантики и производства суждения. Н.М. Бахтин, как бы снимая с нас «соссюрровские очки» в своей семиотике и возвращая в то исходное поле, в котором действовал сам Платон, напрямую ведет нас к той программе критики культуры, которую мы связываем с бирмингемской школой.

Источники

Бахтин 2008 – Бахтин Н. М. *Философия как живой опыт: избранные статьи*. М., 2008.

Карсавин 2017 – Карсавин Л.П. *О началах*. М., 2017.

Ницше 1994 – Ницше Ф. *Философия в трагическую эпоху Греции* // Ницше Ф. *Философия в трагическую эпоху*. М., 1994. С. 192–253.

Ходасевич 1932 – Ходасевич В.Ф. *О горгуловщине* // *Возрождение*. 1932. 11 августа.

Bachtin 1935 – Bachtin Nicolas. *Introduction to the Study of Modern Greek*. Cambridge – Birmingham, 1935.

Bachtin 1963 – Bachtin Nicolas. *Lectures and Essays*. Birmingham, 1963.

Литература

Тиханов 1999 – Tihanov G. *Nikolai Bakhtin and the Oxford University Russian Club: Three Records (1934–1946)* // *Slavonica*. 1999. Т. 5. № 2. С. 17–23.

Тиханов 2002 – Тиханов Г. *Миша и Коля: Брат-Другой* // Новое литературное обозрение. 2002. № 57. С. 54–68.

Шестаков 2010 – Шестаков В.П. *Жизнь на агоне: культурологические идеи Николая Бахтина* // *Культурологический журнал*. 2010. № 1. С. 9.

Янгиров 1992 – *История с «Синема». Полемика об эстетике кино З.Н. Гиппиус и Н.М. Бахтина* // *Литературное обозрение*. 1992. № 3–4. С. 101–105.

NIKOLAI BAKHTIN AS A FORERUNNER OF CONTEMPORARY CULTURAL STUDIES: SOME REMARKS

© **Markov Alexander Viktorovich** (2021), ORCID: 0000-0001-6874-1073, SPIN-код: 2436-2520, D.Sc. in Philology, Full Professor, Russian State University for the Humanities (6 Miuskaya square, Moscow, GSP-3, 125993, Russia), markovius@gmail.com

Nikolai Bakhtin (alias: Nicolas Bachtin, Nikolas Bachtin), a Russian and British (Cambridge and Birmingham) philologist and cultural theorist, experimented in the field of philological methods, proposed on particular observations of the history of the Greek language and translations from the Greek language an original theory of cultural transfers. This theory is most closely associated with discussions about the status of the subject in phenomenology, from Edmund Husserl to Max Scheler, linking the status of the subject with the possibilities of linguistic expression of the subject and the construction of explicit consistent statements. Although the academic study of Plato's *Cratylus* dialogue belongs to the last years of Nikolai Bakhtin's activity, already in his articles of the 1920s, the main themes were related to the conflict between the etymological and situational substantiation of semantics. Nikolai Bakhtin, like his brother Mikhail Bakhtin, developed a dynamic model of culture, in which the position of the subject is not given in advance. But in the works of Nikolai Bakhtin the concepts of polyphony and dialogue

are not expressed, but there are concepts of tone and objectification, going back to the Russian religious philosophy. Rejecting some of the ambitions of Russian religious thinkers, he insisted, just as they did, on the totality of the sphere of beliefs, as opposed to the sphere of psychological reactions and to the sphere of verbal propositions. At the same time, criticism of ideologies, based on the recognition of the already existing sphere of beliefs as the stable horizon of cultural experience, brings Nikolai Bakhtin closer to leftist thought, which was most developed at the Birmingham School (Center for Contemporary Cultural Studies). Nikolai Bakhtin, like Mikhail Bakhtin, proceeded from the already completed semiotization of cultural decisions, but saw in this not any adaptive mechanisms of culture, but an autonomy of judgment, which never lends itself to the instrumentalization, which, in his opinion, was the focus of Plato's *Cratylus*. This autonomy of judgment predetermined Nikolai Bakhtin's acceptance of the left-wing agenda as opposed to any particular instrumentalization of culture, and his interpretation of cultural patterns, which was very close to the Birmingham School and to the standard of cultural studies.

Keywords: Nikolai Bakhtin (Nicolas Bachtin), Mikhail Bakhtin, Plato, cultural studies, University of Birmingham, literary theory, dialogue, religious philosophy, neo-Marxism

References

(Articles from Scientific Journals)

Тиханов 2002 – Tikhonov G. *Misha i Kolya: Brat-Drugoy* [Misha and Kolia: thinking the br(other)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2002, 57, pp. 54–68. (In Russian).

Шестаков 2010 – Shestakov V.P. *Zhizn' na agone: kul'turologicheskie idei Nikolaya Bakhtina* [Agon(ist)ic life: N. Bakhtin's ideas for culture scholarship]. *Kul'turologicheskiy zhurnal* [Culture scholarship Journal], 2010, 1, p. 9. (In Russian).

Янгиров 1992 – Yangirov R. (ed.) *Istoriya s Sinema. Polemika ob estetike kino Z.N. Gippius i N.M. Bakhtina* [The story from "Cinema". The controversy about the aesthetics of cinema Z.N. Gippius and N.M. Bakhtina]. *Literaturnoe obozrenie* [Literary Review], 1992, 3–4, pp. 101–105. (In Russian).

Тиханов 1999 – Tihanov G. *Nikolai Bakhtin and the Oxford University Russian Club: Three Records (1934–1946)*. Slavonica, 1999, 5(2), pp. 17–23. (In English).

Поступила в редакцию 1.08.2021